

*Только змеи сбрасывают кожи,
Чтоб душа старела и росла.
Мы, увы, со змеями не схожи.
Мы меняем души, не тела...*

*Крикну я... но разве кто поможет,
Чтоб моя душа не умерла?
Только змеи сбрасывают кожи,
Мы меняем души, не тела.*

Н. Гумилёв

... В марте 1921 года в крови был утоплен мятежный Кронштадт. В результате боёв свыше тысячи “мятежников” оказались убитыми; раненых насчитали более двух тысяч. Потери войск командарма Тухачевского: 527 убитых и 3 285 раненых.

Выжигать “контру” калёным железом большевики хорошо научились ещё в гражданскую. Потому-то, овладев “неприступной крепостью”, тут же принялись “выжигать”. Взятых в плен ждала незавидная участь. Уже в первый день всех пленников построили в одну шеренгу на Усть-Рогатке в кронштадтской гавани и выстрелами в затылок расстреляли каждого второго. На виду у экипажей кораблей – чтоб неповадно было! А на дверях Офицерского собрания в Кронштадте появился список первой партии казнённых из 957 имён. И это без учёта бессудных убийств. Расстреливали также в Ораниенбауме, Гатчине, Царском Селе...

“По распоряжению Троцкого была учинена форменная резня, – пишет В. Успенский. – Кровь текла по улицам Кронштадта, смешиваясь с весенними ручьями... Это была дикая свирепая вакханалия, которой нет никаких оправданий. Не с лучшей стороны проявил себя и Тухачевский... Когда ему впоследствии напоминали о кронштадтской резне, отделялся короткой фразой: “Я выполнял приказ”...”¹.

Каждый кронштадтский матрос объявлялся преступником, и его ждал революционный трибунал. Участие задержанного в вооружённом мятеже было

для большевиков делом десятым. Многоговорящий факт: в протоколах допросов “мятежников” отсутствуют отметки о том, что кто-то из них был пленён с оружием в руках. Это указывает на одно: пленных (тех, кто был взят с оружием) не судили — их расстреливали по горячим следам, чаще — прямо на месте.

В самом худшем положении оказались раненые повстанцы. На их страшные предсмертные стоны и крики никто не обращал внимания. Обескровленные, раненые “братишки” тихо угасали в кронштадтских переулках, в развалинах, а то и прямо в кровавых лужах на льду. Никто из них помощи так и не дождался. Таков был приказ...

Через несколько дней начались открытые судебные процессы. Особенно досталось матросам с линкоров “Петропавловск” и “Севастополь”. Так, уже 20 марта 13 человек с “Севастополя” за участие в мятеже и вооруженном восстании приговорили к расстрелу. В тот же день заседание “чрезвычайной тройки” отправило на смерть ещё 167 моряков, теперь уже — с “Петропавловска”. Следующий день не принёс арестованным никакой надежды. По постановлению всё той же “тройки” было расстреляно 32 матроса с линкора “Петропавловск” и 39 — с “Севастополя”. Почти каждый день в кронштадтской гавани звучали выстрелы.

В общей сложности расстреляли несколько тысяч (есть другие цифры: не менее десяти тысяч человек!). Огромная масса (предположительно от шести до семи тысяч) восставших матросов оказалась в тюрьмах и концлагере, устроенном специально для “кронштадтских мятежников” под Архангельском...

Через год после кровавых событий в Кронштадте развернула кипучую деятельность так называемая эвакуационная комиссия. В задачу данной комиссии входило не только массовое выселение жителей острова, но и своего рода “фильтрация” их на “жителей” и “кронмятежников”. Не удивительно, что из зарегистрированных 2756 человек последних (вместе с членами их семей) оказалось 2048 — две трети! Этим “третьям” также суждено было пополнить нары специального концлагеря.

И всё же многие моряки ушли в Финляндию. Отход прикрывали специальные группы, набранные по жеребьёвке. В результате к соседям добрели почти восемь тысяч человек.

Голодных и обмороженных (часть людей проделала весь двадцатикилометровый путь в одних заледенелых обмотках!), поначалу беженцев распределили в бараках за колючей проволокой в Туркинсаари, в строгой изоляции от местного населения (власти боялись эпидемии). На их счастье, у моряков нашёлся добрый попечитель — американский Красный Крест. В день каждому “кронштадтцу” выдавали 700 грамм хлеба, 13 грамм топленого масла, жидкий суп, бобы и даже какао. Русские эмигранты помогли одеждой и обувью. Тем и выжили.

Когда в 1922 году Советское правительство объявило амнистию, из общего количества беженцев вернулось более половины. Но амнистия, как потом выяснилось, не распространялась на наиболее активных повстанцев, например, членов революционных “троек”.

“В числе 19 арестованных моряков был и я, — вспоминал Иван Ермолаев. — Больше года мы сидели в тюрьме на Шпалерной в Петрограде, ожидая решения нашей участи. За все это время нам не предъявили никакого обвинения, не вызывали на допросы. В конце концов, мы объявили голодовку. Нас разместили в подвале тюрьмы по одиночным камерам. Осматривая своё новое “жильё”, я обнаружил на стенке камеры нацарапанную чем-то твёрдым надпись: “Здесь сидел в ожидании расстрела член ревкома мятежного Кронштадта матрос с “Севастополя” Перепёлкин. 27/III-21”... Через пять дней мы прекратили голодовку — нам, всем девятнадцати, был объявлен приговор: три года ссылки в Соловецкий концлагерь... Уже на Соловках нам рассказывали прибывшие в ссылку, что, будучи в Бутырской тюрьме, они слышали, что из Петрограда туда был доставлен под усиленным конвоем матрос, участник кронштадтского мятежа Яковенко. Скорее всего, его расстреляли”².

В августе 1921 года Президиум ВЧК опубликовал “Сообщение о раскрытии в Петрограде заговора против Советской власти”. В этом документе руководство ВЧК с некой гордостью доводило до граждан успехи своего неусыпного

труда, а именно — о ликвидности на территории Петрограда и прилегающих областей “нескольких боевых контрреволюционных организаций”, которые, судя по сообщению, представляли собой “единый заговорщический фронт, подготавливающий (с конца 1920 г.) вооружённое восстание в Петрограде”.

Руководящим “ядром” этого фронта, его, так сказать, направляющей дланью, якобы являлась так называемая *Петроградская боевая организация*, возглавляемая неким Комитетом. К сообщению ВЧК прилагался список из 61 фамилии.

Несмотря на то, что многие показания “членов” этой “боевой организации” были, что называется, “притянуты за уши”, каждый из них понёс суровое наказание. Кого-то расстреляли, кого-то надолго отправили “в места не столь отдалённые”.

За участие именно в этой организации поплатился жизнью известный поэт *Николай Степанович Гумилёв*. Его вина так и не была доказана. Вину поэта доказала... пуля.

* * *

А был ли вообще знаменитый “таганцевский заговор”? Не выдумка ли это “лубянский делопроизводитель”? Ведь именно участие в нём, в конечном счёте, и предопределило судьбу поэта. Так вот, заговор, как теперь хорошо известно, действительно, имел место. И это — правда. Как и то, что Гумилёв являлся одним из активных заговорщиков так называемой Петербургской боевой организации (ПБО).

Весь трагизм заговорщиков заключался в том, что их писк, раздавшийся в период замешательства Советской власти в дни “кронштадтского мятежа”, прозвучал как бы в мёртвой тишине всеобщего молчания. Оттого-то, срезонировав в пустоте, писк неожиданно превратился в грохот, угрожающий гул, взвинтив и без того расшатанные нервы как “кремлёвских мечтателей”, так и их лубянских помощников.

Петербургская боевая организация возникла ещё до кронштадтских событий. Подоплёкой создания ПБО была полная уверенность в том, что Совдепия — ненадолго, и её падение — лишь дело ближайшего времени. А если большевики вдруг надумают покинуть Петроград, что будет дальше? Кто, к примеру, возглавит власть в городе? Именно об этом и задумывались члены организации.

Если посмотреть на это дело чекистским взглядом, то ПБО представлялась самой что ни на есть “гидрой” контрреволюции. Да и возглавлялась “гидрой”, как выяснили позже те же чекисты, неким *Комитетом*, в который входили упомянутые выше профессор *В. Я. Таганцев*, бывший артиллерийский полковник *В. Г. Шведов* и ещё один бывший офицер (а по совместительству агент финской разведки) *Ю. П. Герман*.

В подчинении Комитета находилось три группы: профессорская, офицерская и так называемая “Объединённая организация кронштадтских моряков”. Высшее положение в сей иерархии, конечно же, занимала профессорская группа. В ней числились известный финансист князь *Д. И. Шаховской*; бывший царский сенатор, а в то время — ректор Петроградского университета, профессор *Н. И. Лазаревский*; бывший царский министр юстиции *С. С. Манухин* и другие. Профессорская группа являлась неким идеологическим ядром организации, в функции которой входило прогнозирование государственного и хозяйственного переустройства России после скорого, по мнению её членов, свержения власти большевиков. Группа была тесно связана с зарубежным центром в Париже.

Руководителем офицерской группы являлся сподвижник генерала Юденича подполковник *П. П. Иванов*. Если профессора больше мудрствовали, то цели офицеров были более конкретными: ближайшая — подготовка вооружённого восстания в Петрограде, конечная — свержение в городе и области большевистской власти. К слову, Петроград был разбит на районы, во главе которых в случае мятежа должны были встать опытные офицеры.

Ну, и “Объединённая организация кронштадтских моряков”. Эта группа была создана позже, из бывших участников “кронштадтского мятежа”, пробравшихся в Петроград из Финляндии по заданию руководителя кронштадт-

ского восстания Петриченко с целью подпольной борьбы, в частности — совершения террористических актов и общей политической дестабилизации в регионе. Так, группа планировала взрыв Нобелевских складов, уничтожение памятников большевистских деятелей (не глупость ли?!), убийство видных партийцев (в частности, бывшего комиссара Балтфлота Кузьмина) и пр.*

И не только. “Братишки”, например, не брезговали и откровенными грабежами. Как показал на следствии один из заговорщиков, некто Орловский, он и ещё несколько соучастников “хотели устроить налёт на поезд Красина и забрать всё золото и ценности”.

Руководил этой группой бывший матрос с линкора “Петропавловск” М. А. Комаров. Существовали “кронштадтцы” исключительно на деньги ПБО.

Таким образом, если кто-то до сих пор сомневался в существовании “заговора”, может быть уверен: **заговор был.**

Владимир Николаевич Таганцев (1886–1921) к началу 1921 года являлся приват-доцентом Петроградского университета. Известный географ, а по политическим пристрастиям — кадет, — профессор Таганцев был сыном известного в своё время сенатора-юриста Н. С. Таганцева, Последний, к слову, хорошо знал семью Ульяновых. Именно он в 1887 году помог Марии Александровне (матери Ленина) устроить свидание с арестованным старшим сыном Александром незадолго до его казни.

Как бы чекисты ни пристёгивали Таганцеву верховенство в ПБО, уже по определению, по самой личности ясно: профессор тянул разве что на теоретического лидера антибольшевистского заговора.

“О заговоре Таганцева, — писала И. Одоевцева, — при всей их наивной идеалистической конспирации — знали (также, как когда-то о заговоре декабристов) очень и очень многие. Сам Таганцев (как, впрочем, и Гумилев) был прекрасендушен и по природе не заговорщик... Я даже знаю, как там всё было устроено: у них были ячейки по восемь человек, и Гумилев стоял во главе одной из таких ячеек”³.

Вот и промелькнуло имя Гумилёва. Понятно, что группа Таганцева состояла из представителей самой что ни на есть фрондирующей интеллигенции, но никак не руководителей заговора. Подлинные руководители — это бывшие кадровые офицеры: Ю. Герман (кличка Голубь) и присланный ему в подмогу в начале 1921 года В. Шведов. “Таганцев & К” лишь придавали всей подпольной структуре эту фактурность и политическую значимость в глазах Запада.

* * *

Теперь о Гумилёве. Он вернулся в Россию в самый канун горячих событий — в марте 1918-го, когда политическое противостояние в стране достигло своего апогея, а общество оказалось расколотым на “красных” и “белых” — на большевиков и всех остальных, кто не с ними.

А ведь всё могло пойти совсем по иному сценарию, нежели по тому, в котором поэту Гумилёву суждено было сыграть роль злостного заговорщика. Да и сценарий, по правде говоря, был написан Фортуной для него совсем другой, где этот стройный прапорщик с аксельбантами и в отливающих серебром погонах играл роль штабного офицера русского экспедиционного корпуса во Франции.

Поначалу этому человеку здорово везло. Февральские события не только не спутали все карты, но, казалось, что именно их-то он и ждал. Летом 1917-го Гумилёв по линии военного министерства уезжает на Салоникский фронт в качестве военного корреспондента газеты “Русская воля”. Однако до Балкан он так и не доехал (а что ему, собственно, там было делать?), остановившись на полпути, в Париже. Во французской столице его оставили служить в канцелярии военного комиссара русских войск во Франции, а позже командировали ещё дальше — в шифровальный отдел Русского правительственного комитета в Лондоне (по сути, на ключевую разведывательную должность за рубежом).

* “Кронштадтцы” отнюдь не ограничивались планами. Ими, например, пироксилиновой шашкой был взорван в Петрограде памятник Володарскому, а также организовано несколько покушений на видных советских руководителей.

Служба, конечно, ответственная, зато, согласитесь, не пыльная и даже почётная. Именно в этот период штабист Гумилёв отличился в одной щекотливой операции, которую, возможно, ему позже и не простила власть рабочих и крестьян.

Дело в том, что после выхода в марте 1917-го печально известного “Приказа № 1” русские части из экспедиционного корпуса во Франции, размещённые в военном лагере Ля Куртин (департамент Крёз, неподалёку от Лиможа), провозгласили власть Советов и, изгнав офицеров, стали требовать отправки домой, в Россию. Так вот, не кто иной как Гумилёв вёл переговоры с руководителями бунтовщиков. Однако все доводы офицера о присяге и чести ни к чему не привели.

Бунт на фронте во все времена подавляется жестоко и быстро. Не стала исключением и ситуация в Ля Куртин. Говорят, когда поступила команда расстрелять бунтовщиков из пушек, Гумилёв стоял на артиллерийской батарее. Дождавшись докладов от командиров расчётов о готовности, он, сняв фуражку, перекрестился и со словами: *“Господи, спаси Россию и наших русских дураков!”* – подал сигнал об открытии огня...

Результатом подавления беспорядков русских солдат во Франции стали девять убитых, полсотни раненых. Гумилёву же было приказано написать на имя российского военного министра Терещенко обстоятельный рапорт. Написал. И в качестве основной причины “бунта” назвал *“ленинскую пропаганду и пагубное влияние русских эмигрантов на солдатскую массу”*.

Итак, штрих первый. Николай Гумилёв к моменту своего возвращения на родину был отнюдь не наивным поэтом-мечтателем, жившим лишь в тесном мире сладких поэтических грёз. Это был выдавший мир и познавший войну вполне зрелый человек, трезво оценивавший как события, происходившие вокруг него, так и людей, боровшихся в этих событиях за выживание.

Впрочем, ему в то время было не до грёз. Шифровальный отдел Русского правительственного комитета оказался распущенным, впереди маячила неопределённость. Остаться в Лондоне не было ни возможности, ни средств; уехать же в Париж было тоже нельзя: французские власти временно закрыли границы не только для проезда иностранцев, но даже для транзита.

Штрих второй. Несмотря на утверждения многочисленных биографов Гумилёва о том, что поэт вернулся в Россию, изнывая от тоски по Родине, придётся их огорчить: это далеко от действительности. Николай Степанович вернулся домой (в хаос и разруху) не по зову сердца, а исключительно по воле командования, выполняя приказ военного руководства. Продолжая некоторое время оставаться офицером, он по-прежнему получал денежное довольствие, на что, собственно, и жил.

Но была ещё одна немаловажная причина отбыть офицеру штаба из сытого Лондона в голодный Петроград. На тот момент в Петрограде находились все его родные – больная мать, брат с сестрой, жена, сын. Таким образом, Гумилёв оказался в плену обстоятельств, у него просто-напросто не оставалось выбора.

Мысленно вчерашний штабной офицер уже смирился с перспективой жить бок о бок с большевиками, даже при всём том, что он их ненавидел. Пока лишь просто ненавидел. Ненавидеть люто и до глубины души он начнёт их через год-другой. Выжить же при большевиках в те годы мог лишь человек далеко не слаонервный и, главное, *сытый*. Ни того, ни другого новая власть не гарантировала.

С августа 1918 года (покушения на Урицкого и Ленина) новая власть устроила для российского обывателя настоящую жизнь на выживание: аресты, расстрелы, взятие заложников. Были закрыты все оппозиционные газеты и журналы; шпионаж и доносы стали обыденностью. Набирал обороты “военный коммунизм”.

В этих поистине адских условиях муза для Гумилёва стала единственной отдушиной, в тиши которой он мог укрыться от суровой действительности. Семейный особняк в Царском Селе реквизировали, жильцов выставили вон. Без работы, без крыши над головой особо не попишешь. Едва-едва удалось получить съёмное жильё. Опять же с трудом устроился “совслужащим”,

по совместительству — редактором. Скудного господыка едва хватало, чтобы не падать от голодных обмороков.

“Как-то он позвал к себе, — вспоминал Корней Чуковский. — Жил он недалеко, на Ивановской, близ Загородного, в чьей-то чужой квартире. Добрёл я до него благополучно, но у самых дверей упал: меня внезапно сморило от голода. Очнулся я в великолепной постели, куда, как потом оказалось, прихлоп меня Николай Степанович, вышедший встретить меня у лестницы чёрного хода (парадные были везде заколочены).

Едва я пришёл в себя, он с обычным своим импозантным и торжественным видом внёс в спальню старинное, расписанное матовым золотом, лазурное блюдо, достойное красоваться в музее. На блюде был тончайший, почти сквозной, как папиросная бумага, — не ломтик, но, скорее, лепесток — серобурого, глиноподобного хлеба, величайшая драгоценность тогдашней зимы.

Торжественность, с которой еда была подана (нужно ли говорить, что поэт оставил себе на таком же роскошном блюде такую же мизерную порцию?), показалась мне в ту минуту совершенно естественной. Здесь не было ни поэмы, ни рисовки. Было ясно, что тяготение к пышности свойственно Гумилеву не только в поэзии и что внешняя сторона бытовых отношений — для него важнейший ритуал. [...]

Около этого времени, — кажется, в 20-м году — у него родилась дочь Елена — болезненная, слабая девочка, и перед ним встала задача, почти непосильная в ту пору ни для малых, ни для великих поэтов: ежедневно добывать для ребёнка хоть крохотную каплю молока. Моё положение было не легче: семья моя состояла из шести человек, и её единственным добытчиком был я.

С утра мы с Николаем Степановичем выходили на промысел с пустыми кулками и склянками... Выдавались такие месяцы, когда в неделю мне приходилось вести одиннадцать литературных кружков — в том числе и в Горохре (Городская охрана), в Балтфлоте, в артели инвалидов, в Доме искусств. Гумилёв вёл кружки в Пролеткульте, в Институте живого слова, в “Звучащей раковине” и проч. Мы оба — у военных курсантов.

В “Чукоккале” об этом массовом насаждении литературных кружков сохранилась такая эпитафия...:

*Широкий путь России гению
Сулят счастливые ауспиции.
Уж Гумилёв стихосложению
Китайцев учит из милиции...*

Но Гумилёв был не склонен к малодушному ропоту. Иногда мне казалось, что он даже как будто радуется широкой возможности приобщить молодёжь к поэзии, хотя, конечно, в глубине души предпочёл бы всецело отдаться своему призванию поэта. [...]

Натура энергичная, деятельная, отлично вооружённая для житейской борьбы, Гумилёв видел даже какую-то прелесть в роли конквистадора, выходящего всякий день на добычу. На первый взгляд, он был хрупок и слаб, но мускулы у него были железные”⁴.

Через два года Гумилёва было не узнать. Истощённый, с землистым цветом лица и мешками под глазами, он представлял собою тот тип человека, который люто ненавидел Советскую власть. До одури, до умопомрачения. От “идола металлического”, как он себя когда-то называл, не осталось и следа. В голове — единственная мысль: выжить любой ценой, а по возможности — как можно быстрее бежать за границу!

*Моя мечта летит к далёкому Парижу,
К тебе, к тебе одной.
Мне очень холодно. Я верно не увижу
Подснежников весной.*

*Мне грустно от луны. Как безнадежно вьется
Январский колкий снег.
О, как мучительно, как трудно растает
С мечтою человек.*

Мучимый ежедневным страхом быть арестованным, поэт, тем не менее, едва сдерживается, чтобы не сорваться.

“Гражданского мужества у Гумилёва было больше, чем требуется, — писала И. Одоевцева. — Однажды на вечере поэзии у балтфлотцев, читая свои африканские стихи, он особенно громко и отчётливо проскандировал:

*Я бельгийский ему подарил пистолет
И портрет моего государя.*

По залу прокатился протестующий ропот. Несколько матросов вскочили. Гумилёв продолжал читать спокойно и громко, будто не замечая, не удостоивая вниманием возмущенных слушателей.

Книжечка стихотворение, он скрестил руки на груди и спокойно обвёл зал своими косыми глазами, ожидая аплодисментов.

Гумилёв ждал и смотрел на матросов, матросы смотрели на него.

И аплодисменты вдруг прорвались, загремели, загрохотали.

Всем стало ясно: Гумилёв победил. Так ему здесь ещё никогда не аплодировали.

— А была минута, мне даже страшно стало, — рассказывал он, возвращаясь со мной с вечера. — Ведь мог же какой-нибудь товарищ-матрос, “краса и гордость красного флота”, вынуть свой небельгийский пистолет и пальнуть в меня, как палил в “портрет моего государя”. И, заметьте, без всяких для себя неприятных последствий. В революционном порыве, так сказать... Только болван не видит опасности и не боится её. Храбрость и бесстрашие не синонимы. Нельзя не бояться того, что страшно. Но необходимо уметь преодолеть страх, а главное, не показывать вида, что боишься. Этим я сегодня и подчинил их себе. И до чего приятно. Будто я в Африке на львов поохотился. Давно я так легко и приятно не чувствовал себя”⁵.

Ну что ж, вполне доходчиво: “будто на львов поохотился”. По крайней мере, бескровно. А если бы “львы” оказались более проворными?

Ещё беспощаднее он к “большевизанствующим” коллегам по цеху:

*Мне муза наша с детских лет знакома,
В хитоне белом, с лирою в руке.
А ваша муза в красном колпаке,
Как проститутка из Отделнаркома...*

Ситуация усугубляется полной неразберихой в личной жизни. В те дни у Гумилёва молодая жена — Анна Энгельгард (с Ахматовой он развёлся в 1918-м). В голодные зимы она с дочкой Леночкой уезжает в Бежецк к родственникам мужа (там же живёт с бабушкой и сын Гумилёва от первого брака Лёвушка). Гумилёву жить одному проще и легче. Но Анна в Бежецке рассорилась с сестрой Николая и засыпала супруга письмами с угрозами, что если она останется там и дальше, то непременно “повесится или отравится”.

Для него же это не самое лучшее время, чтобы везти в Петроград жену и двухлетнюю дочь. В конце мая по городу прокатилась первая волна арестов членов антибольшевистского подполья, действительно существовавшего. Гумилёв ходит сам не свой, со дня на день ожидая ареста. Тем не менее, он перевозит семью в Петроград. Боясь за девочку, он тут же отправляет её в детский дом в Парголово. На душе поэта мрачно, сердце сжимается под тяжестью нехороших предчувствий.

Хотя нотки усталости и тревоги в стихах Гумилёва явственно слышались уже с семнадцатого года:

*Нежно-небывалая отрада
Прикоснулась к моему плечу,
И теперь мне ничего не надо,
Ни тебя, ни счастья не хочу.*

*Лишь одно бы принял я, не споря —
Тихий, тихий золотой покой
Да двенадцать тысяч футов моря
Над моей пробитой головой.*

*Что же думать, как бы сладко нежил
Тот покой и вечный гул томил,
Если б только никогда я не жил,
Никогда не пел и не любил.*

В те дни он часто повторял это своё стихотворение. Сердечные “тиски” в груди Гумилёва и жажда “золотого покоя” появились не на пустом месте. Была в его жизни одна тайна... И он много бы дал, лишь бы не было ни тайны, ни... лиц, затянувших поэта в мутный водоворот политических событий. Впрочем, он больше винил не столько кого-то, сколько себя — за легкомысленную близорукость.

Ещё осенью 1920-го Гумилёв каким-то образом тайно встретился с Юрием Германом. Опытный разведчик, Герман тут же смекнул, что Николай — тот, кто ему нужен, предложил поэту “добывать разные сведения и настроения и раздавать листовки”. Работа, конечно, подчеркнул Герман, будет хорошо оплачена. Неожиданно для себя Гумилёв загорелся, встречно предложив собеседнику организовать в Петрограде... “активное восстание”. Однако потребовал за это слишком большую сумму. Словом, предварительный разговор так и остался разговором. Поэта больше не тревожили, и постепенно он как бы отошёл от заговорщиков.

Всё обострилось с началом кронштадтских событий, когда восставшим позарез понадобилась поддержка из Питера. По подсказке профессора Таганцева полковник Шведов разыскал Гумилёва и предложил в случае необходимости “помочь с прокламациями”.

Из воспоминаний члена ячейки Гумилёва поэта Георгия Иванова:

“Однажды Гумилёв прочёл мне прокламацию, лично им написанную. Это было в кронштадтские дни. Прокламация призывала рабочих поддержать восставших матросов, говорилось в ней что-то о “Гришке Распутине” и “Гришке Зиновьеве”. Написана она была довольно витиевато, но Гумилёв находил, что это как раз язык, “доступный рабочим массам”...”

Тогда же, вспоминал Иванов, Гумилёв сказал: “Ждать нечего. Ни переворота не будет, ни Термидора. Эти каторжники крепко захватили власть. Они опираются на две армии: красную и армию шпионов. И вторая гораздо многочисленнее первой. Я удивляюсь тем, кто составляет сейчас заговоры... Я не трус. Борьба моя стихия, но на работу в тайных организациях я бы теперь не пошёл”⁶.

После того, как Гумилёв ответил вербовщикам согласием, ему было выделено 200 000 рублей и лента для ротатора для печатания антисоветских листовок. От ленты поэт отказался, но пообещал организовать “группу преданных людей”. Пообещал и... принял за дело.

Причастность Гумилёва к заговору, а также наличие у него крупной суммы денег подтверждает и жена Георгия Иванова, уже цитированная мною Ирина Одоевцева:

“Об его участии в заговоре я узнала совершенно случайно... Я, как я это часто делала, слушая то, что меня не особенно интересовало, слегка вдвигала и выдвигала ящик его письменного стола. Я совершенно не умела сидеть спокойно и слушать, сложа руки.

Не рассчитав движения, я вдруг совсем выдвинула ящик и громко вздохнула. Он был туго набит пачками кредиток.

— Николай Степанович, какой вы богатый! Откуда у вас столько денег? — крикнула я, перебивая чтение.

Гумилёв вскочил с дивана, шагнул ко мне и с треском задвинул ящик, чуть не прищемив мне пальцы.

Он стоял передо мной бледный, сжав челюсти, с таким странным выражением лица, что я растерялась. Боже, что я наделала!

— Простите, — забормотала я, — я нечаянно... Я не хотела... Не сердитесь...

Он как будто не слышал меня, а я всё продолжала растерянно извиняться. — Перестаньте, — он положил мне руку на плечо. — Вы ни в чём не виноваты. Виноват я, что не запер ящик на ключ. Ведь мне известна ваша манера вечно всё трогать. — Он помолчал немного и продолжал, уже овладев собой. — Конечно, неприятно, но ничего непоправимого не произошло. Я в вас уверен. Я вам вполне доверяю... Так вот...

И он, взяв с меня клятву молчать, рассказал мне, что участвует в заговоре. Это не его деньги, а деньги для спасения России. Он стоит во главе ячейки и раздаёт их членам своей ячейки.

Я слушала его, впервые понимая, что это не игра, а правда. Я так испугалась, что даже вся похолодела.

— Боже мой, ведь это безумно опасно!..

Он перебил меня.

— Перестаньте говорить жалкие слова. Неужели вы воображаете, что можете переубедить меня? Мало же вы меня знаете. Я вас считал умнее. — Он уже снова смеялся. — Забудьте всё, что я вам сказал, и никогда ни о чём таком больше не спрашивайте. Поняли?

Я киваю.

— И клянётесь?

— Клянусь.

Он с облегчением вздыхает.

— Ну, тогда всё в порядке. Я ничего вам не говорил. Вы ничего не знаете. Помните — ровно ничего. Ни-че-го! А теперь успокойтесь и вытрите глаза. Я вам сейчас чистый носовой платок из комода достану.

И всё же с этого дня я знала, что Гумилёв действительно участвует в каком-то заговоре, а не играет в заговорщиков”⁷.

Однако вот что интересно. Несмотря на связь Гумилёва с заговорщиками, результатом его деятельности, если верить показаниям Таганцева, явился... пшик! Как утверждал профессор, Гумилёв хотя и взял для подпольной работы деньги, обещая в будущем организовать боевую группу, и согласился выпустить прокламации, но не написал и не организовал. Он вообще ничего не сделал. Поэт, судя по всему, лишь имел намерение что-либо сделать в борьбе с большевиками, был готов — и только.

Вот и вердикт чекистов в отношении него довольно сух и беден: Гумилёв “взял на себя активное содействие в борьбе с большевиками и составлении прокламаций контрреволюционного содержания”...

* * *

18 марта 1921 года для кронштадтских мятежников всё было кончено. Тогда мало кто помнил, как пятьдесят лет назад (в тот же день!) точно так же французские власти потопили в крови парижских коммунаров; по жестокости и кровопролитию Кронштадт и Париж мало уступали друг другу.

Тем временем маховик террора, набрав обороты, закрутился в полную силу. 30 мая 1921 года при переходе финской границы был застрелен руководитель ПБО Юрий Герман; 5 июня арестовали профессора Таганцева. Гумилёв понимает: вот-вот придут за ним. И пришли. Но поэта по искомому адресу не оказалось.

В этот период коварная Фортуна, как бы оттягивая зловещий конец, открыла надеждой. Июнь 1921 года Гумилёв проводит... в Крыму. Незадолго до этого он сблизился с неким Владимиром Павловым. Тоже из “бывших” (кто тогда в интеллигентской среде был не из “бывших”?), кадровый военный, ставший при Советах военспецом. Но главное — не это. Главное, что Павлов при новой власти был назначен флаг-секретарём нового командующего ВМС РСФСР вице-адмирала А. В. Немица. Таким образом, оказавшись в адмиральской свите, Гумилёв с товарищем отправился в инспекционную поездку в Севастополь. Вырвавшись из семейной рутины, он вновь почувствовал себя в родной стихии. В Крыму он читает лекции о поэзии, пишет стихи и даже навещает тещу (мать Ахматовой). Там же Гумилёв выпустил свой последний прижизненный сборник стихов “Шатёр”. Очутившись в Феодосии, он случайно встретился с “заклятым другом” Максом Волошиным, и старые соперники наконец-то пожали друг другу руки.

Загорелый и отдохнувший, в начале июля Гумилёв со свитой прибывает в Москву (здесь, к слову, у него случился мимолётный роман с поэтессой Ольгой Мочаловой). Через несколько дней поэт уже в Петрограде. Весь июль он занят, в общем-то, одним — организацией Клуба поэтов (заметьте, ни о какой политике за несколько дней до ареста Гумилёв, как уверяли знавшие его, даже не помышлял). Там же, в Клубе поэтов, на очередном вечере

он знакомится с молодой поэссой Ниной Берберовой и вновь с головой окунается в волнующий омут любви. (Приходится признать: любимец муз обожал юных поэсс.)

Штрих третий. И всё-таки мы ошибаемся: музы музами, но Гумилёв ни на секунду не забывал о поручении. Он ждал событий. Факты? Пожалуйста.

Эмигрировавший в Финляндию профессор Петроградского университета и бывший член редколлегии издательства “Всемирная литература” (там работал и Гумилёв) Борис Сильверсван вспоминал, как однажды поэт предложил ему вступить в некую подпольную организацию, которой тот якобы руководил.

“Он сообщил мне тогда, — пишет Сильверсван, — что организация состоит из пятерок, членов каждой пятёрки знает только её глава, а эти главы известны только одному Таганцеву; вследствие летних арестов в этих пятёрках оказались пробелы, и Гумилёв стремился к их заполнению; он говорил мне также, что разветвления заговора весьма многочисленные и захватывают влиятельные круги Красной Армии...”⁸.

Переполненные одиночеством бессонные ночи пугают страшными мыслями о близкой смерти. Незадолго до ареста Гумилёв жаловался Одоевцевой, что часто об этом думает:

“— Я в последнее время постоянно думаю о смерти. Нет, не постоянно, но часто. Особенно по ночам. Всякая человеческая жизнь, даже самая удачная, самая счастливая — трагична. Ведь она неизбежно кончается смертью. Ведь как ни ловчись, как ни хитри, а умереть придётся. Все мы приговорены от рождения к смертной казни. Смертники. Ждём — вот постучат на заре в дверь и поведут вешать. Вешать, гильотинировать или сажать на электрический стул. Как кого. Я, конечно, самонадеянно мечтаю, что:

*Умру я не на постели
При нотариусе и враче...”⁹.*

Будто в воду смотрел. Не сложилось — ни умереть в собственной постели, и уж тем более — при нотариусе и враче. Август оказался для Гумилёва роковым. Третьего числа на питерской конспиративной квартире был убит полковник Шведов. В тот же день команда чекистов во главе с неким Мотовиловым ворвалась в квартиру Гумилёва: лусто! (В квартире на Преображенской 5/7 поэт был лишь прописан и практически там не появлялся.) Странно, оперативникам не сразу пришло в голову искать поэта в “Доме искусств”, где нашли приют многие его коллеги по цеху.

“В конце лета я стал собираться в деревню на отдых, — вспоминал хорошо знавший Гумилёва Владислав Ходасевич. — В среду, 3 августа, мне предстояло уехать. Вечером накануне отъезда пошёл я проститься кое с кем из соседей по “Дому искусств”. Уже часов в десять постучался к Гумилёву. Он был дома, отдыхал после лекции. Мы были в хороших отношениях, но короткости между нами не было. И вот, как два с половиной года тому назад меня удивил слишком официальный приём со стороны Гумилёва, так теперь я не знал, чему приписать необычайную живость, с которой он обрадовался моему приходу. Он выказал какую-то особую даже теплоту, ему как будто бы и вообще несвойственную. Мне нужно было ещё зайти к баронессе В. И. Иксуль, жившей этажом ниже. Но каждый раз как я подымался уйти, Гумилёв начинал упрасивать: “Посидите ещё”. Так я и не попал к Варваре Ивановне, присидев у Гумилёва часов до двух ночи. Он был на редкость весел. Говорил много, на разные темы. Мне почему-то запомнился только его рассказ о пребывании в царскосельском лазарете, о государыне Александре Фёдоровне и великих княжнах. Потом Гумилёв стал меня уверять, что ему суждено прожить очень долго — “по крайней мере до девяноста лет”. Он всё повторял:

— Непременно до девяноста лет, уж никак не меньше.

До тех пор собирался написать уйму книг.

Упрекал меня:

— Вот мы однолетки с вами, а поглядите: я, право, на десять лет моложе. Это всё потому, что я люблю молодёжь. Я со своими студистками в жмурки играю — и сегодня играл. И потому непременно проживу до девяноста лет, а вы через пять лет скиснете.

И он, хоча, показывал, как через пять лет я буду, сгорбившись, волочить ноги и как он будет выступать “молодцом”.

Прощаясь, я попросил разрешения принести ему на следующий день кое-какие вещи на сохранение. Когда наутро, в условленный час, я с вещами пошёл к дверям Гумилёва, мне на стук никто не ответил... Я был последним, кто видел его на воле. В его преувеличенной радости моему приходу, должно быть, было предчувствие, что после меня он уже никого не увидит”¹⁰.

Его арестовали в ночь на четвёртое, тут же отправив в ПетроЧК, на Горюховую, 2. Потом будет камера № 77 на Шпалерной, 25. Оттуда Гумилёва увезут на расстрел...

* * *

Выписка из протокола заседания Президиума Петрогуб. ЧК от 24.08.21 года:

“Гумилёв Николай Степанович, 35 лет, б. дворянин, филолог, член коллегии издательства “Всемирная литература”, женат, беспартийный, б. офицер, участник Петроградской боевой контрреволюционной организации, активно содействовал составлению прокламаций контрреволюционного содержания, обещал связать с организацией в момент восстания группу интеллигентов, кадровых офицеров, которые активно примут участие в восстании, получил от организации деньги на технические надобности.

Приговорить к высшей мере наказания — расстрелу”.

Штрих четвёртый. Кто “сдал” Николая Гумилёва? Вопрос, согласитесь, прямой и жёсткий, но на то есть веские основания. Так, достоверно известно, что накануне ареста на поэта поступило два доноса. Кто эти доносчики?! Я бы с удовольствием написал сейчас их фамилии жирными буквами — хотя бы для того, чтобы знал каждый. С удовольствием! Но... не могу.

Когда-то эти доносы, которым суждено было сыграть в жизни поэта роковую роль, мирно покоились в “Деле № 214224” (так называемом “Деле Гумилёва”). А потом их кто-то когда-то изъял. С абсолютной точностью можно лишь сказать, что доносы не стряпали ни Таганцев, ни Шведов и, уж конечно, не Герман. (Двое последних были убиты при задержании; Таганцев же стал давать показания против Гумилёва только через три дня после ареста поэта, когда он, по материалам эмигрантской газеты “Дни” (1926 год, № 1070), стал сотрудничать со следствием после того, как ему сам Менжинский “дал слово пощадить всех участников дела, если он назовет всех без утайки”.

Вот что вспоминал по этому поводу Ходасевич:

“На Пасхе вернулся из Москвы в Петербург один наш общий друг, человек большого таланта и большого легкомыслия. Жил он, как птица небесная, говорил — что Бог на душу положит. Провокаторы и шпионы к нему так и льнули: про писателей от него можно было узнать все, что нужно. Из Москвы привез он нового своего знакомца. Знакомец был молод, приятен в обхождении, себр на небольшие подарки: папиросами, сладостями и прочим. Называл он себя начинающим поэтом, со всеми спешил познакомиться. Привели его и ко мне, но я скоро его спровадил. Гумилёву он очень понравился.

Новый знакомец стал у него частым гостем. Помогал налаживать “Дом поэтов” (филиал Союза), козырял связями в высших советских сферах. Не одному мне казался он подозрителен. Гумилёва пытались предостеречь — из этого ничего не вышло. Словом, не могу утверждать, что этот человек был главным и единственным виновником гибели Гумилёва, но, после того как Гумилёв был арестован, он разом исчез, как в воду канул. Уже за границей я узнал от Максима Горького, что показания этого человека фигурировали в гумилёвском деле и что он был подослан”¹¹.

Кто был тот провокатор и доносчик? Без наличия бумажного клочка под названием донос все рассуждения на эту тему являются не более чем гаданием на кофейной гуще...

Штрих пятый. Николай Гумилёв никого не выдавал. Им были названы имена убитого Германа, полковника Шведова (дабы запутать следователей, назвал лишь его псевдоним — Вячеславский), Таганцева (после ознакомления

протоколом допроса допрашивается того он понял, что отпираться бессмысленно). Потом пошли в ход “некая кучка прохожих”, какие-то “неизвестные бывшие офицеры” и т. п.

Многие из знакомых Гумилёва, кого он привлекал в свои “пятёрки”, в те дни стали ждать ареста. Но, как вспоминал Г. В. Иванов, “никто из них не был арестован, все благополучно здравствуют: имена их были известны только ему одному”¹².

Не это ли вызывающее укрывательство (и даже издевательство над следствием) так взбесило чекистов?

Штрих шестой. Чекисты ничуть не сомневались, что поэт Николай Гумилёв действительно совершил преступление. Не сомневались они и в том, что основная его вина заключалась в контрреволюционной деятельности (во все времена – самое тяжкое преступление).

А вот и “изюминка”: не за это расстреляли Гумилёва. Поэта казнили за другое!

Сколько ни бились следователи, ничего существенного вменить ему не смогли. Остановились на малом: якобы своевременно не донёс органам Советской власти о тех, кто предлагал ему вступить в некую подпольную офицерскую организацию.

Что дальше? А... всё. За это и расстреляли.

Да, был так называемый “таганцевский заговор”; да, поэт Гумилёв тесно общался с заговорщиками, хотя, согласитесь, находился в подпольной организации далеко не на первых ролях. Тогда откуда пошла молва, что Гумилёв не имел к ПБО никакого отношения? Повторюсь, имел. А вот расстреляли его... при отсутствии состава преступления.

Бывает ли такое?! Бывает. К примеру, могу навскидку назвать сразу троих “контрреволюционеров”, казнённых ни за что: Людовик XVI, Николай II и... поэт Гумилёв. Позже совершённое Гумилёвым назовут “прикосновенностью к преступлению”. Именно так по советскому уголовному праву будет квалифицировано деяние поэта в виде недонесения. Хотя по тому же законодательству, недонесение не есть соучастие.

Доказательством невиновности Николая Гумилёва является “Дело № 214224”, заведённое на него питерскими чекистами. Николая Гумилёва расстреляли не за контрреволюционную деятельность. Поэта приговорили к высшей мере за “прикосновенность к преступлению”.

Штрих седьмой. Не раскрою большого секрета, сказав, что жизнь человеческая в Стране Советов, особенно на первых этапах её становления, мало что значила. Достаточно сказать, что новое государство в течение пяти лет – с 1917 по 1922 годы – существовало без законов. Власть осуществлялась по декретам, циркулярам, инструкциям, указаниям, приказам – только не по законам. В те годы в РСФСР не было законов! Уникальный, по сути, случай. Вот откуда “красный террор”, “военный коммунизм” и прочие нововведения ленинской опричнины.

Взять, к примеру, заложничество. В годы гражданской войны этих бедолаг-заложников расстреляно было не сто-двести – тысячи ни в чём не повинных людей. Вспомним “кронштадтский мятеж”, когда семьи моряков, проживавшие в Петрограде, оказались невольными заложниками новой власти. А ведь захват заложников, их содержание под стражей, казнь и пытки были запрещены международной Гаагской конвенцией ещё в 1907 году, за десять лет до Октябрьского переворота. Но государство, официально объявившее “красный террор”, плевать хотело на какую-то Гаагскую конвенцию!

Лишь 17 января 1920 года ВЦИК и Совнарком приняли постановление об отмене смертной казни. Но это, как показало время, было лишь на бумаге. Потому что для любого закона всегда найдётся маленькое “но”.

Вот, к слову, выдержка из постановления СНК о “красном терроре” от 5 сентября 1918 года: “подлежат расстрелу все лица, прикосновенные к белогвардейским организациям, заговорам и мятежам”...

Может, после отмены смертной казни людей стрелять перестали? Если бы! На дворе разгул “военного коммунизма”, и теперь к стенке ставят “за пособничество”, соучастие в террористических актах, в вооружённой борьбе против государства. Таким образом, при отсутствии законов “при-

косновенность” для большевиков безусловно означала “соучастие”. Гумилёв был обречён...

*Какое отравное зелье
Влилось в моё бытиё!
Мученье моё, веселье,
Святое безумье моё.*

Эти стихотворные строки – последние, написанные поэтом незадолго до расстрела...

* * *

Если в те дни кто и сомневался в виновности Гумилёва, то только не *ОН!* ОН – это Яков Саулович Агранов (Янкель Шмаевич Соренсон, 1893–1938). Именно Агранову, особоуполномоченному особого отдела ВЧК, и было поручено расследование как “кронштадтского мятежа”, так и “петроградского заговора”.

Сын лавочника из-под Гомеля, юный Янкель, выучившись на бухгалтера, собирался пойти по стопам отца. Но бурные события в стране помешали его планам. В армию тщедушного эпилептика не взяли, пришлось заняться политикой. Свою политическую деятельность Яков Агранов начинал эсером, однако за два года до Октябрьского переворота он очутился в Енисейской ссылке, где сошёлся с большевистскими лидерами – Сталиным и Каменевым. Тогда же вступил в РСДРП(б).

После Октября карьера его стремительна. В 1918-м – секретарь Малого Совнаркома; в 1919-м – сотрудник секретариата Совнаркома РСФСР. Уже тогда проявил себя преданнейшим “человеком Сталина”, циничным и безжалостным аппаратчиком. К примеру, в качестве уполномоченного Совнаркома он вместе со Сталиным выезжал в Царицын для организации продотрядов.

Одна работа в центральном аппарате являлась для Агранова лишь ширмой: истинным призванием этого нувориша, как оказалось, была работа в ЧК. Как-то уж так получилось, что Яков Агранов (по годам – мальчишка!), быстро втершись в доверие к Дзержинскому, на какое-то время стал его личным секретарём, а потом – тем самым особоуполномоченным особого отдела ВЧК. В то время от одного лишь его имени пригибались все гражданские и военные чиновники.

С 1920 по 1921 год партаппаратчик и по совместительству чекист Агранов трудился заместителем начальника Управления особых отделов ВЧК, подчиняясь непосредственно заместителю председателя ВЧК Иосифу Уншлихту. Именно в этой должности он во главе опергруппы и прибыл в восставший Кронштадт.

К тому времени, когда Яков Агранов возглавил кампанию по искоренению “таганцевского заговора”, он ещё не был тем, в кого превратится лет этак через десять – в Опричника высочайшего полёта. В двадцатые он общался с Михаилом Булгаковым, дружил с Владимиром Маяковским (к слову, последний застрелился из пистолета, подаренного Аграновым), был завсегда-таем “литературных салонов” Лили Брик и Зинаиды Райх, и все называли его “милый Янечка”.

Как многие жестокие люди, “Янечка” любил живопись, театр, музыку (играл на скрипке), и в 1921 году лишь оттачивал мастерство палаческого ремесла. Именно он, Агранов, будет составлять списки “золотой интеллигенции”, подлежащей высылке из РСФСР в 1922 году, заслужив неприятное для него прозвище “продавца билетов на “философский” пароход”. Агранов принимал самое деятельное участие в разработке и проведении операции “Трест” и ликвидации “Народного Союза защиты Родины и Свободы” Бориса Савинкова.

После расправы над “таганцевцами” Агранову будет поручено спланировать “дело партии эсеров”, “троцкистский заговор” (1929), а после убийства Кирова – “дело ленинградского террористического центра”. Он же станет (уже в качестве комиссара госбезопасности I ранга) застрельщиком так называемых “Московских процессов” в 1936 году.

Помните знаменитого чекиста Якова Блюмкина, убившего немецкого по-
сланника Мирбаха? Так вот, в 1929 году его лично расстрелял тов. Агранов.

А Гумилёв... Гумилёв явился разменной монетой в его коварной игре
в кошки-мышки, в которой у мышки выжить не оставалось ни шанса*.

Правда, в отличие от чекиста, поэт об этом даже не догадывался. А по-
тому на очередной допросе на аграновский коварный вопрос, брал ли тот от
Таганцева деньги на “технические надобности” (Таганцев на допросе заявил:
“На расходы Гумилёву было выдано 200 000 рублей советскими деньгами”),
чистосердечно признался:

– Да, получал...

Эти два слова стоили Гумилёву жизни...

Штрих восьмой. Ну хорошо, поэт признался. Пусть по советских тогдаш-
ним канонам “прикосновенность” приравнивалась к “соучастию”. Но ведь
смертная казнь уже год как была отменена, правильно? Правильно.

Но мы забыли об одном обстоятельстве, которым и воспользовались
большевики: в связи с кронштадтскими событиями на тот момент в Петрогра-
де по-прежнему действовало *военное и осадное положение*. А при военном
положении с “контрреволюцией” не церемонились.

Случись всё это с Гумилёвым в Москве или, скажем, в Саратове, гля-
дишь, и отделался бы двумя годами исправительных работ где-нибудь под
Архангельском. Но всё произошло в осадном Питере, поэтому ни с заговор-
щиками, ни с соучастниками (а всяких “прикосновителей” не могло быть по
определению!) никто не собирался цацкаться. И после признания поэта
в том, что брал-де от Таганцева деньги, следствие потеряло к поэту всякий
интерес: *его судьба была решена*.

Когда в городе появились нехорошие слухи, кое-кто всполошился. На-
пример, Максим Горький, знавший Гумилёва по редколлегии издательства
“Всемирная литература”. Он напрямую связался с “железным Феликсом”.
Но Дзержинский довольно холодно отреагировал на столь горячее участие
Алексея Максимовича в судьбе поэта и дал понять, что освобождать “соуча-
стника и террориста” не намерен.

Тогда Горький вспомнил о “подруге дней суровых” – актрисе Марии Анд-
реевой. Та хорошо знала наркома просвещения Луначарского. Однажды поз-
дней ночью на квартиру наркома явилась какая-то женщина и потребовала
срочно разбудить Анатолия Васильевича по срочному делу.

*“Когда Луначарский проснулся, – вспоминал его секретарь А. Колбанов-
ский, – и, конечно, её узнал, она попросила немедленно позвонить Ленину.
“Медлить нельзя. Надо спасти Гумилёва. Это большой и талантливый поэт.
Дзержинский подписал приказ о расстреле целой группы, в которую и входит
Гумилев. Только Ленин может отменить его расстрел”.*

*Андреева была так взволнована и так настаивала, что Луначарский, нако-
нец, согласился позвонить Ленину даже и в такой час.*

*Когда Ленин взял трубку, Луначарский рассказал ему всё, что только что
услышал от Андреевой. Ленин некоторое время молчал, потом произнёс: “Мы
не можем целовать руку, поднятую против нас”, – и положил трубку”¹³.*

... По делу ПБО было арестовано свыше двухсот человек. По постановле-
нию Петроградской чрезвычайной комиссии от 29 августа 1921 года Таганцев,
Лебедев, Орловский и многие другие (всего 87 человек) были расстреляны,
остальные “отделались” различными сроками лишения свободы. В числе рас-
стрелянных оказался и Николай Гумилёв.

Их расстреляли в каком-то овраге на окраине Ржевского полигона под Пе-
троградом. Рассказывали, что Гумилёв перед расстрелом был спокоен
и хладнокровно выкурил сигарету.

Г. В. Иванов донёс до нас воспоминания одного из близких к чекистским
кругам человека: *“Этот ваш Гумилёв... Нам, большевикам, это смешно. Но,
знаете, шикарно умер. Я слышал из первых рук. Улыбался, докурил папирос-
су... Фанфаронство, конечно. Но даже на ребят из особого отдела произвёл*

* Такой же разменной монетой для Агранова явился сын Сергея Есенина – Юрий,
арест которого он санкционировал незадолго до своего смещения в 1937 году.

впечатление. Пустое молодчество, но всё-таки крепкий тип. Мало кто так умирает. Что ж — сваял дурака. Не лез бы в контру, шёл бы к нам, сделал бы большую карьеру. Нам такие люди нужны”¹⁴.

Так погиб Гумилёв...

*В красной рубашке, с лицом, как вымя,
Голову срезал палач и мне,
Она лежала вместе с другими,
Здесь, в ящике скользком, на самом дне.*

* * *

Вердиктный (окончательный) штрих. И вновь зададимся вопросом: был ли виновен поэт Гумилёв? Сразу оговоримся: никто и ничто не вправе определить вину человека, кроме как суд. Только судебный вердикт даёт право говорить о виновности. Именно поэтому мы можем лишь рассуждать — и не более.

Итак, виновен или нет? Фактически — да. Виновен в том, что позволил втянуть себя в антибольшевистский (читай — антигосударственный) заговор. Как теперь знаем, Гумилёв финансировался верхушкой заговорщиков с целью распространения “прокламаций контрреволюционного содержания”, а также имел намерение организовать боевую группу.

А вот юридически... Любые разговоры о юридической стороне дела на тот момент, когда в Стране Советов законодательство как таковое практически отсутствовало (не было ни Уголовного, ни Уголовно-процессуального, ни Гражданского кодексов!), не выдерживают никакой критики. Даже тот факт, что при допросах Гумилёва не было проведено ни одной очной ставки, говорит о многом.

Тем не менее, оказаться замешанным в “контрреволюционном заговоре” в городе, находившемся на военном и осадном положении, и в государстве, где, согласно постановлению Совнаркома о “красном терроре”, могли “поставить к стенке” только за классовую принадлежность, означало только одно: смерть!

Пусть поэт Гумилёв был виновен. Но и в таком случае степень его вины никак не соответствовала суровости назначенного ему наказания. Даже если все его приготовления, осторожная агитация, намерение и готовность выступить против большевиков расценивать как активное участие в незаконном преступлении (заговорщики не достигли поставленных целей), то и при такой квалификации преступления не могло быть и речи о высшей мере.

Большевики не любили разглагольствовать. Они предпочитали действовать, причём решительно, молниеносно, напористо, не боясь ошибиться или поддаться искушению пролить слезу над “безвинно убиенными”. Советская власть, считали они, должна быть стальной, как и её вожди, а всё прочее — голод, разруха и кровь — окупится сторицей. Прояви чуточку милосердия — и всё полетит вверх тормашками. Отсюда и “красный террор”, и “военные положения”.

Оказавшись “заговорщиком” в “чрезвычайном” районе, Николай Гумилёв был расстрелян в связи с особыми условиями военного положения, а именно — по законам военного времени. Если же говорить простым языком, этот человек оказался не в то время и не в том месте. Поэт пал жертвой обстоятельств. Да, бывает и такое. И добавить к этому больше нечего...

* * *

Как известно, в протоколах допросов Николая Гумилёва фигурирует фамилия некоего следователя *Якобсона*. Расстрельное дело подписано этой же фамилией. И всё бы ничего, если б не маленькое недоразумение: в недрах ЧК в те годы никакой Якобсон не числился. Якобсон, уверяет писатель Ю. Зобнин, и есть Агранов, оставивший под расстрельным списком свой дьявольский псевдоним.

Не буду оригинален, если скажу, что Зло частично прячется под маской лицемерия. Выходит, Якобсон – маска, которой прикрылось истинное Зло – чекист Агранов, отправивший поэта на эшафот...

Так уж издавна повелось, что расстрельщик поэта навеки связан с именем последнего. И не важно, кем они, поэтоубийцы, были при жизни и чем занимались: каждый из них после того дня аккуратно пополнял собою Список Негодяев. Навсегда и во веки веков.

Понимал ли это особоуполномоченный ЧК Яков Агранов? Не сомневайтесь, не мог не понимать. И мучился терзаниями. С одной стороны, не давало покоя яростное желание разделаться с талантливым человеком, живущим по собственным законам чести, впитанным с молоком матери. С другой – ох, как не хотелось чекисту Агранову навсегда быть “приклеенным” к убийству поэта. Тогда-то в его хитроумной головушке и родилась иезуитская мысль спрятаться за маской Якобсона. Именно мифическому Якобсону, по замыслу кукловода, и суждено было остаться на века человеком, отправившим на смерть поэта Гумилёва.

Не вышло. То ли молод был, то ли где-то ошибся. А потому прочно, словно стальными наручниками, оказался связан с самой известной своей жертвой...*

Природа жестока и последовательна. После убийства гения одним негодяем на земле становится больше. Мы не знаем, как свою победу в неравной схватке отметил чекист Агранов – стаканом самогона или снотворной пилюлей. Для него гораздо страшнее, пожалуй, был миг преодоления невидимой черты, навсегда определивший жизненное кредо поэтоубийцы.

Так он в обнимку со Злом пройдёт до “Большого террора”, став первым заместителем наркома внутренних дел и начальником ГУГБ НКВД. Под личным контролем Агранова будут проводиться допросы Каменева, Зиновьева, Бухарина, Рыкова, Тухачевского. Не пощадит никого, считая самым честным только себя.

Позади дважды орденосца Красного Знамени останутся реки крови, впереди будет ждать Океан, потопивший и его самого. Топор террора не потерпит игры в поддавки, он будет рубить тяжело и жестоко, обезличивая “героев” и “палачей”, “самых преданных” и “самых непримиримых”. Созданное не без помощи Агранова кровавое Чудовище однажды обернётся против него же...

Судьбу Агранова решит указание Сталина, данное наркому Ежову в конце 1936 года: “Агранов – это неискаренный человек провокатор. Надо ещё посмотреть, как он вёл следствие по делу об убийстве товарища Кирова, может быть, так, чтобы запутать все дело. Ягода всегда делал на него ставку”.

Гумилёвский расстрельщик закончит в муках и унижении. Но не это главное. Справедливость восторжествует уже в том, что Агранова исключат из ВКП(б) с вполне заслуженной формулировкой: “за систематические нарушения социалистической законности”.

Итак, Гумилёва послал на смерть “нарушитель законности”, по сути, “отморозок” от правосудия, кровавый палач. Жаль, что с уходом палача его жертвы не возвращаются. Остаётся лишь некая пустота, а также отчаяние и, конечно, память. А ещё – стихи:

*Откуда я пришёл, не знаю...
Не знаю я, куда уйду,
Когда победно отблстаю
В моём сверкающем саду.*

*Когда исполнюсь красотой,
Когда наскучу лаской роз,
Когда запросится к покою
Душа, усталая от грёз...*

*Всегда живой, всегда могучий,
Влюблённый в чары красоты.*

* Помимо Гумилёва, Агранов лично проводил допрос Патриарха Тихона и дочери Льва Толстого – Александры Львовны.

*И вспыхнет радуга созвучий
Над царством вечной пустоты.*

С гибелью каждого русского поэта по чуть-чуть умирает Россия. Впрочем, как и её народ...

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ “Мужество”. 1991. № 2. С. 38.

² И. Ермолаев. “На братоубийственную бойню кронштадтцы пойти не могли!..” // “Дружба народов”, 1990. № 3 // Г. В. Смирнов. Очищение армии. М., “Алгоритм”, 2008. С. 179.

³ “Русская мысль”. 1983. 3 марта. С. 8.

⁴ К. И. Чуковский. Собр. соч. в 2-х томах. М., “Правда”, 1990. Т. 2. С. 537, 541-542.

⁵ И. В. Одоевцева. На берегах Невы. М., “АСТ: Астрель”; Владимир, “ВКТ”. 2011. С. 82-83.

⁶ И. В. Немирович-Данченко. Рыцарь на час. М. С. 232.

⁷ И. В. Одоевцева. На берегах Невы. С. 362-364.

⁸ Ю. В. Зобнин. Казнь Николая Гумилева. Разгадка трагедии. М., ООО “Издательство “Эксмо”, 2010 г. С. 110-111.

⁹ И. В. Одоевцева. На берегах Невы. С. 88.

¹⁰ В. Ф. Ходасевич. Некрополь. М., “Вагриус”, 2006 г. С. 88-89.

¹¹ Там же, с. 88.

¹² Ю. В. Зобнин. Казнь Николая Гумилёва. Разгадка трагедии. М., ООО “Издательство “Эксмо”, 2010. С. 117.

¹³ Сб. “Жизнь Николая Гумилёва (Воспоминания современников)”. Сост. Ю. В. Зобнин, В. П. Петрановский, А. К. Станюкович. Л., 1991. С. 274.

¹⁴ Г. В. Иванов. Собр. соч. в 3-х томах. М., 1994. Т. 3. С. 169.